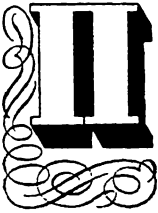


ПРОФ. Н. Л. БРОДСКИЙ  
ПУШКИН И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

---



ПУШКИН был свидетелем грандиозных сдвигов в общественно-политической жизни Европы. В его время происходили на Западе глубочайшие изменения в расстановке общественных классов, сложные идеологические процессы, совершавшиеся вследствие великой буржуазной французской революции.

Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы,  
И высились и падали цари...

Сверстники Пушкина на ратных полях Германии и Франции участвовали в решениях исторических судеб континентальных народов. С детских лет Пушкин слышал рассказы о замечательных людях Европы от встречавшихся с ними в Париже, Женеве, Берлине и Лондоне. Он был знаком с людьми, связанными с историей революционного движения на Западе. Беседы с очевидцами этой общественной борьбы вносили черты живой, конкретной действительности в обширный мир книжных впечатлений. Тяга Пушкина к мемуарам, историческим исследованиям проявилась рано. В политических кружках, в которых он вращался по выходе из лицея, европейские события оживленно обсуждались. На Западе сосредоточивались надежды русской дворянской интеллигенции, сдавленной пятой царизма. Революционная практика Европы подсказывала решения, применимые в борьбе с петербургским самовластьем.

Прошлое и современное в революционном движении народов Запады притягивало пристальное внимание поэта и его современников. В стихах и прозе Пушкина не мало откликов на европейские события и оценок европейских деятелей. На первом месте, естественно, французская революция с ее идейными вдохновителями,

с историческими перипетиями, с последствиями, относившимися к первым десятилетиям XIX века. Пушкин по-разному размышлял о ней в разные периоды своей жизни. Рано стали просачиваться в его сознание имена и факты этой революции. Подростком он слышал от дяди Василия Львовича восторженные рассказы, как тот представлялся Наполеону. В лицее его учитель, профессор Будри, брат якобинца Марата, бежавший в Россию после женеvского восстания, рассказывал о революционных событиях: однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам (вспомнил Пушкин), как ни в чем не бывало: «это он тайком настроил Шарлотту Кордэ, сделав из этой девушки второго Равальяка». В лицее Пушкин познакомился с боевыми офицерами, проделавшими заграничные походы в борьбе с Наполеоном; от них и их товарищей он многое услышал об пменах и событиях, встречавшихся в прочитанных им книгах и газетах. То были: Каверин, Чаадаев, М. Ф. Орлов, Кривцов, лично известный Наполеону и Талейрану, Бенжамен Констану, m-ше Сталь, Лукин — друг Сен-Симона — и Никита Муравьев, посещавший французскую палату депутатов и внимательно следивший за прениями. От них веяло на Пушкина западноевропейским воздухом, в их рассказах жизнь Запада вставала перед ним в картинах, в образах, в деталях. В Одессе Пушкин встречался с бывшим придворным Людовика XVI Ланжероном, эмигрировавшим из Франции после начала революции. В Москве после ссылки поэт беседовал с характерным обломком русского барства XVIII века князем Н. Б. Юсуповым, которого в Фернее «могильным голосом приветствовал» Вольтер, — «циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый», — с Юсуповым, бывавшим в Версале и наблюдавшим «шумные забавы» с участием Марии Антуанеты:

Падение всего, союз ума и фурий,  
Свободой грозною воздвигнутый закон,  
Под гильотиною Версаль и Трианон  
И мрачным ужасом смененные забавы...

Незадолго до смерти Пушкин в избранном кружке слушал в чтении французского посла, историка Баранта, отрывки из ненапечатанных мемуаров Талейрана. Так до Пушкина, никогда не бывавшего в Западной Европе, долетали отголоски ее жизни. А жадно поглощаемая поэтом книжная пицца, преимущественно французская, оформила его мировоззрение. Он — «крестник Вольтера», в годы юности проникшийся идеями «века просвещения» в трудах

Монтескье. Руссо, Гельвеция, Гольбаха, быстро преодолел под ударами российского деспотизма, в годы „Священного союза“, — навеянную в 1812—1814 годах патриотическим одушевлением концепцию, по которой борьба народов с Наполеоном рисовалась «свободы ярым боем»; он — автор „Вольности“ (1817)—называл Людовика XVI «мучеником ошибок славных», революцию — «славными бедами», казнь короля представлялась ему образом «кровавой плахи вероломства»:

Молчит закон — народ молчит,  
Падет преступная секира.

Революционный призыв в типичной для XVIII века теме тираниборчества («тираны мира, трепещите!») умерялся обращением к царям «склониться под сень надежную закона»:

И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Но этот призыв, практически в революционных действиях осуществлявшийся на Западе в эпоху реставрации, утверждался в политических воззрениях поэта все резче. В послании к Чаадаеву в 1818 г. поэт мечтает о наступлении момента, когда режим *«кочующего деспота»* будет обращен в *«обломки самовластья»*.

Всегда точный в политической терминологии, Пушкин различал вслед за автором *«Духа законов»* политический порядок *деспотии* и *монархии*. Как добиться превращения *самовластья*, т. е. *деспотии*, в *монархию* — в конституционный порядок, поэт в 1817—1819 гг. ясно не представлял, но то, что он, судя по его выражению — *«обломки самовластья»*, стоял на позиции необходимости революционного восстановления в стране деспотизма — по европейскому образцу, — это вне всякого сомнения. Вольнолюбивый поэт, возмущенный жестоким произволом *«барства дикого»*, горя желанием увидеть *«народ неугнетенным»*, знал, что Александр I, *«кочующий деспот»*, наложивший на Россию *«гнет власти роковой»*, не даст освобождения народу от крепостного ига и что *«рабство падет»* только после ликвидации деспотизма. В конкретно-исторической обстановке лозунг Пушкина *«рабство, падшее по манию царя»* обозначал ожидание крестьянской реформы сверху, но, во-первых, после уничтожения *«кочующего деспота»*, т. е. Александра I и, во-вторых, при установлении в России конституционной монархии, что соответствовало планам *«Союза благоденствия»*, в заседаниях филиала которого — в *«Зеленой лампе»* — Пушкин принимал участие. Ликвидация феодально-крепост-

нического строя в России представлялась поэту политическим переворотом, который по характеру должен был походить на первоначальный период истории французской революции. Усиление реакции в России заставляло приветствовать действия вроде убийства студентом Зандом немецкого чиновника и агента русского правительства Коцебу (23 марта 1819 г.), или убийства французским рабочим Лувелем герцога Беррийского, претендента в роде Бурбонов, на престол (13 февраля 1820 г.). Реакционному деятелю, автору политического доноса на немецкие университеты, Стурдзе, «холопу венчанного солдата», Пушкин в известной эпиграмме предназначал судьбу «немца Коцебу», а весной 1820 г. демонстративно показывал в театре портрет Лувеля с надписью: „Урок царям“. В 1821 г., в стихотворении „Кинжал“, обращаясь к Занду, поэт восклицает:

О Занд, твой век угас на плахе;  
Но добродетели святой  
Остался глас в казненном прахе.  
Твоей Германии он вечной тенью стал,  
Грозя бедой преступной силе —  
И на торжественной могиле  
Горит без надписи кинжал.

„Кинжал Лувеля“ Пушкин вспоминал в десятой главе „Евгения Онегина“; «безумец Лувель» отмечен и в одной из заметок поэта в „Литературной газете“ 1830 г. В 1826 г. юнкеру Зубову было предъявлено обвинение по поводу декламирования им стихов, сочиненных Пушкиным на покойного Александра I:

В столице — он капрал,  
В Чугуеве — Нерон,  
Кинжала Зандова везде достоин он

Тот же Зубов читал другую эпигramму, известную в нескольких вариантах, также приписанную Пушкину:

Мы добрых граждан позабавим,  
И у позорного столпа  
Кишкой последнего попа  
Последнего царя удавим.

«Цареубийственный кинжал» входил в программу революционных дворян. Образами Занда и Лувеля, еще до ссылки, поэт сигнализировал о возможности повторения их опытов на русской почве в годы аракчеевщины.

Европейская действительность с 1820 г. поставила перед Пушкиным другую форму революционного воздействия на самодержавие. В январе началась испанская революция, ее возглавлял полковник Риго, поднявший на острове Леоне астурийский батальон во имя конституции 1812 г. Риго освободил участника национальной борьбы с Наполеоном генерала Квиругу, арестованного в 1815 г. Имена Риго и Квируга стали символами национально-освободительной борьбы. Военная молодежь восторженно следила за успехами повстанцев. Об испанской революции Пушкин должен был слышать еще в Петербурге; по свидетельству Н. И. Тургенева, «о революции в Гишпании многие члены и не члены Общества говорили с большим удовольствием»; Чаадаев писал брату 25 мая 1820 г.: «еще одна большая новость — этой новостью полон весь мир: испанская революция кончена, король принужден подписать конституционный акт 1812 г. Целый народ восстал, и в три месяца разыгрывается до конца революция — и ни капли крови пролитой, никакой резни, ни потрясений, ни излишеств, вообще ничего, что могло бы осквернить это прекрасное дело, — что ты об этом скажешь? Вот разительный аргумент в деле революций, осуществленных на практике. Но во всем этом есть нечто, касающееся нас особенно близко, — сказать ли что? Могу ли довериться этому нескромному листку? Нет, лучше помолчу. Уже и без того меня называют демагогом...».

«Вольнолюбивые надежды» Пушкина разгорались в беседах с петербургскими друзьями об испанской революции. Революционная тактика — военный заговор, революция в интересах народных масс под руководством офицеров, которые по захвате власти проведут нужные государственные мероприятия — рассматривалась дворянскими революционерами, как наиболее подходящая для России форма борьбы с самовластьем. Когда, по типу испанской революции, в июле 1820 г. произошла неаполитанская революция, возглавлявшаяся лейтенантом Морелли, когда в августе того же года полковник Сепульведа произвел в Португалии военный переворот, — активные члены „Союза благоденствия“ стали обсуждать тему о возможности в России «революции на манер гишпанской». Зимой 1820 г. ссыльный Пушкин, в Каменке, среди съехавшихся в имение Давыдовых — Раевских участников тайного общества, только и слышал разговоры об этом. В «демагогических спорах» Якушкина, Охотникова, М. Орлова, В. Давыдова и других испанская и неаполитанская революции занимали главенствующее место. В письме из Каменки 4 декабря поэт рекомендовал Н. И. Гнедичу: «нюхайте гишпанского табаку

и чихайте громче, еще громче», намекая на испанскую революцию. Уехав из Каменки, он вспоминал, как его друзья, надев «демократический халат»:

Спасенья чашу наполняли  
Беспенной мерзлой струей  
И за здоровье *те*х и *той*  
До дна, до капли выпивали!  
Но *те* в Неаполе шалят,  
А *та* едва ли там воскреснет...

*Те* — неаполитанские революционеры, *та* — свобода, задавленная во Франции вернувшимися к власти Бурбонами. Национально-освободительная борьба на Западе раскрыла перед поэтом могучее значение народных масс: их участие приводило борьбу к победному концу, а отход от борьбы с врагом кончался поражением вождей движения. Так случилось вскоре там, где недавно

Тряслися грозно Пиренеи,  
Вулкан Неаполя пылал.

Констатируя поражение восставших, поэт не хочет примириться с мыслью, что

Народы тишины хотят...

Послание к В. Л. Давыдову (1821 г.) кончалось надеждой на победу народов, на торжество революции в России:

[Ужель надежды луч исчез?]  
Но нет! — мы счастьем насладимся,  
Кровавой чашей причастимся...<sup>1</sup>

Пушкин на Юге вращался среди той военной молодежи, которая с особенным вниманием следила за военными революциями на Западе. В 1820 г. его знакомый говорил: «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы поступили глупо, свергнув Наполеона с престола». В шумных кишиневских беседах поэт энергично декларировал свои политические убеждения, выразившиеся в признании недолговечности торжества союза монархов-деспотов. По свидетельству П. И. Долгорукова, ответственного чиновника, бессарабского наместника, Пушкин за столом у И. Н. Инзова с жаром доказывал: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский тоже; не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх».

Особенно горячо встретил Пушкин известия о революционном движении в Греции, на Балканском полуострове, в Молдавии и Валахии, когда против турецкой империи двинулась разноплеменная масса — греки, сербы, румыны, албанцы, болгары. Он встречался в Кишиневе с вождем гетеристов, «безруким князем» А. Ипсиланти. Когда последний, перейдя 22 февраля 1821 г. русскую границу, поднял восстание против турок, поэт восторженно отозвался о революционном деле генерала: «Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен. Отныне и мертвый или победитель, он принадлежит истории — завидная участь».

Мартовское письмо В. Давыдову полно подробностями о греческом движении, подготовлявшемся в городе, где жил поэт. «Восторг умов дошел до высочайшей степени; все мысли греков устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества», — писал он, прерывая рассказ о новых Леонидах и Фемистоклах лирическими восклицаниями: «вольнолюбивые патриоты», «прекрасные минуты Надежды и Свободы»... 2 апреля он записал в кишиневском дневнике: «вечер провел у N. S. Прелестная гречанка. Говорили об Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек: все отчаивались в успехе предприятия Этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует»... Поэт мечтал принять активное участие в греческом движении: 7 мая он отправил письмо А. Ипсиланти, вероятно, прося разрешения вступить в его армию добровольцем. Перед Пушкиным близко от Кишинева кипела напряженная борьба народов. Он жадно прислушивался к разноязычным песням о народных повстанцах, о замученном Владимиреско, вожде румынского крестьянства, о болгарском герое Бим-баше Савве; он рисует яркий образ греческого патриота, павшего в бою за «великое святое дело» под черным знаменем свободы (см. стихотворение „Гречанка верная! Не плачь“...), и собирает материалы о народных храбрецах, впоследствии обработанные в повести „Кирджали“. Современные герои сплетались в его воображении с давно погибшими за то же дело: образ серба Карагеоргия сплетался с молдаванскими преданиями о Дуке, Дафне и Дабиже. Пушкин не углублялся в анализ социальных причин расхождения пути Ипсиланти и Владимиреско; в его глазах греческое восстание и борьба, поднятая Владимиреско, — народное движение против тирании, народный порыв к свободе. Героические эпизоды этой борьбы отвечали его индивидуальным наклонностям; поэт долго вспоминал о «героях Скуляни и Секу, сподвижниках Иордаки» (в письме Вяземскому 5 апреля 1823 г.); в октябре 1824 г.

он просил Жуковского хлопотать о малолетней дочери «грека, павшего в скулянской битве, героя».<sup>1</sup> Поражение А. Ишпаланги, горькие наблюдения в Кишиневе и Одессе над тылом греческих повстанцев, над спасшимися от разгрома греками, давшие материал для трагедийного стихотворения „Свободы сеятель пустынный“ (1823), не уничтожили в поэте убеждения, что «ничто еще не было столь *народно*, как дело греков». Встретившись со Стурдзой в Одессе, Пушкин охотно разговаривал с автором брошюры, написанной в защиту греческой независимости. Восстание греков оставалось близким ему и позже; к 1830 г. относится его стихотворение „Восстань, о Греция, восстань!“ с концовкой:

Страна героев и богов  
 Расторгла рабские вериги  
 При пеньи пламенных стихов  
 Тиртея, Байрона и Ригги.

Революционные движения на Западе, создавшие ряд героических имен, заново осветили в сознании Пушкина французскую революцию XVIII века. В стихотворении „Наполеон“ (1821) он иначе, чем в оде „Вольность“ (1817), расценивает революционные события 1789—1793 годов. Теперь уже французская революция была для поэта — «волнение бурь *народных*», неизбежное крушение старого феодального порядка («галл десницей разъяренной низвергнул ветхий свой кумир»), момент *пробуждения* народных масс от *рабства*. Казнь Людовика XVI была для Пушкина лишь эпизодом в мятежной истории, за которым

...день великий неизбежный,  
 Свободы светлый день вставал.

В революции рождалась *свобода*, народ обновлялся.

И обновленного народа  
 Ты буйность юную смирил,  
 Новорожденная свобода,  
 Вдруг онемев, лишилась сил...

Изменилось отношение Пушкина и к Наполеону. В эпоху реставрации французский император казался ему не только «тираном», но и «мятежной вольности наследником». Неоконченное стихотво-

<sup>1</sup> Сильвио, герой повести „Выстрел“ (1830), «предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».



рение „Недвижный страж дремал“ (1823) с исторической проникновенностью рисует западноевропейскую политическую жизнь в эпоху реакции, после подавления „Священным союзом монархов“ революционных движений; оно с явным сочувствием вскрывает значение «великого человека», разнесившего по феодальной Европе семена буржуазной революции и заставившего почувствовать при своем появлении страх «владыки севера», оковавшего народы «тихой неволей» и предлагавшего «грозным витиям», друзьям свободы, «целовать жезл России и (их) поправшую железную стопу».

Крушение идеи «революции на манер гишпанской», т. е. военного проконсулата без опоры в народных массах, вызвало мучительный кризис в политических воззрениях современников Пушкина (Пестеля, Н. И. Тургенева, Н. Муравьева) и в нем самом. Казнь Риго 26 октября 1823 г. отозвалась большой скорбью в сердцах его русских друзей. Пушкин, мечтавший видеть в генерале Пущине, председателе кишиневской масонской ложи, Квиругу, сподвижника, «мятежного вождя» Риго, гневно отомстил «усердному льстецу», своему гонителю, вельможе графу Воронцову, радостно встретившему известие о гибели испанского революционера. Эпиграмма „Сказали раз царю“ отражала общее чувство презрения к новороссийскому генерал-губернатору, объединившее всех «либералистов», задыхавшихся среди «почетных подлецов» и «холопов добровольных». Но раздавленное на Западе революционное движение не снимало вопроса о борьбе с царизмом, о необходимости покончить с рабством народа. Опыт французской революции стоял перед Пушкиным, изучавшим ее в двадцатых годах по сочинениям Б. Констан, м-ше Сталь и других.

Не без противоречий расценивал он в двадцатых годах ее действия и ее деятелей.

К Марату он относится отрицательно; жирондистку Корде, поразившую кинжалом якобинца, поэт ставит в один ряд с «вольнлюбивым Брутом» и «свободы мучеником Зандом» (см. стихотворение „Кинжал“, 1821). Но наблюдения над господами положения в Европе, стремившимися как можно решительнее задушить освободительные принципы 1789 г., картины аракчеевщины, крепостнического произвола и личный опыт политического изгнанника заставляли Пушкина по-маратовски чувствовать и думать, приводя его к мысли, что завоевания свободы могут быть добыты только средствами, к которым прибегали революционеры маратовского типа. В дневнике П. И. Долгорукова сохранился характерный рассказ о том, как Пушкин

20 июля 1822 г. в споре с одним из кишиневских чиновников разразился речью: «штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большей частью, один класс земледельцев — почтенный». На дворян русских особенно нападал Пушкин. «Их надобно всех повесить, а если б это было, то я с удовольствием затягивал бы петлю». Возможность последней реплики вытекает из крайней степени ненависти Пушкина к господствовавшему классу душевладельцев; автор «Деревни» был «другом народа» и приходил в негодование при мысли о присвоивших «насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца», предлагая ту расправу с врагами народа, которую Марат декларировал в своих статьях и речах по адресу сторонников старого феодального порядка. Сосланный в Михайловское, поэт, обогащенный опытом европейских революций, еще острее ощущал необходимость продумать не столько программу, сколько тактику предстоящей борьбы с царизмом. Неизбежность схватки с политическим режимом бесправия и рабства для Пушкина была ясна.

11 января 1825 г. давний член тайного общества, лицейский друг И. И. Пущин, намекнул ссыльному поэту о продолжавшейся деятельности тайной организации. Образы великой буржуазной французской революции не покидали Пушкина. Себе предназначал он роль поэта А. Шенье, с возможной гибелью, выпавшей на долю автора, воспевшего Шарлотту Кордэ. Стихотворение „Андрей Шенье в темнице“ (1825) еще раз подтверждает, что Пушкин не только признал историческую необходимость уничтожения «старого порядка», но и утверждал великое освободительное значение революции, в недрах которой родилась «священная свобода». В оценке Пушкина А. Шенье — поэт, который «славил священный гром» революционной бури:

Когда он разметал позорную твердыню  
И власти древнюю гордыню  
Развевал пеплом и стыдом.

Французский народ, восставший против вековых поработителей, мощно показал свою «гражданскую отвагу», посылая «Свободе, Разуму торжественный привет».

От пелены предубеждений  
Разоблачался ветхий трон.  
Оковы падали. Закон,  
На вольность опершись, провозгласил равенство  
И мы воскликнули: «Блаженство!»...

Образом Шенье Пушкин вскрывал свои политические взгляды: его собственное отношение к Шарлотте Кордэ и Марату было однородно со взглядами французского лирика и, таким образом, устанавливалась мера признания им принципов революции лишь в первоначальном периоде крушения «ветхого трона». Союз генеральных штатов, взятие Бастилии, национальное собрание, декларация прав человека и гражданина; король, принявший, в знак согласия с народом, новую трехцветную кокарду; конституция 1791 г., казнь короля, изменившего народу, — в этих пределах принималась Пушкиным революция.

Эту концепцию французской революции Пушкин, видимо, сохранил до конца.<sup>1</sup> 1789—1792 годы он считал эпохой истории западноевропейских народов, выходом их на новую дорогу, по которой должна двинуться и отсталая, феодально-крепостническая «ветхая» Россия. После 14 декабря, когда дворянская революция без опоры в массах показала свою слабость, Пушкин, продолжая изучение западноевропейских революционных движений, обычно присоединял к итогам своих раздумий о русской истории, исторических процессах в Англии, Америке, о роли исторических лиц — Разине и Пугачеве — и опыт той же французской революции XVIII века. Политическая идеология 1789 г., философские учения «века просвещения», самая терминология борцов с «ветхой Европой» были основой в мировоззрении поэта и его словесном выражении. «Гонимый рока самовластьем», поэт-узник питал иллюзию оказывать воздействие на государственную власть, защищая принципы закона, права, свободы, просвещения, человеколюбия. Эти иллюзии с начала тридцатых годов стали таять у Пушкина не только в результате фактов конкретной действительности в его стране, с ростом абсолютизма, деятельностью III отделения, отсутствием реформ и пр.; «надежды» подтачивались (см. „Друзьям“, 1828) фактами европейской жизни, за которыми Пушкин пристально следил по иностранным газетам, журналам, удивляя своей осведомленностью всех, слышавших его разговоры о политике.

Июльская революция 1830 г. была одним из уроков политического отрезвления поэта, одним из существенных моментов в признании невозможности найти общий язык с носителями русской государственной власти.

<sup>1</sup> Ср. в 1830 г.: «в крике les aristocrates aux lanternes—один жалкий эпизод французской революции, гадкая фарса в огромной раме».

Пушкин сочувственно встретил известия о взрыве недовольства в Париже, когда Карл X и глава кабинета министров Полиньяк шестью ордонаансами отменили права, завоеванные народом и закрепленные в конституционной хартии. Он согласен был с палатой депутатов, которая признала Полиньяка и других министров совершившими акт государственной измены; он говорил, что за нарушение конституционных законов Полиньяк должен быть казнен, но предсказание Пушкина не оправдалось, так как палата депутатов обратилась к королю Людовику-Филиппу с просьбой об отмене смертной казни по политическим преступлениям. В этом вопросе политическая идеология Пушкина проявилась чрезвычайно показательно: он за закон, добытый народом в борьбе за свободу, против легитимистов, врагов народа, реставраторов старого («ветхого») феодального строя. В своей вражде к нарушителям конституционных вольностей он смыкался с настроениями революционных масс, требовавших сурового наказания Полиньяка и других. Утвердившийся во Франции социально-политический порядок, давший победу «Королю с зонтиком», королю-мещанину, вызывал возмущение поэта: гимн политически умеренных собственников — «Парижанку» Делавиня — он называл «водевильными куплетами» и отдавал предпочтение Руже де-Лиллю, воплотившему в «Марсельезе» пафос революционного народа.

В середине июня 1831 г. Пушкин известил свою петербургскую приятельницу, снабжавшую его иностранными книгами, Е. М. Хитрово, о том, что он «предпринял исследование о французской революции», и просил прислать ему запрещенные в России труды Тьера и Минье. Библиотека Пушкина хранила многотомные собрания мемуаров и исследований о революции XVIII века. Поэт собирался выступить в качестве историка. Любопытно, что перед тем, как обратиться к истории крестьянского восстания 1773—1774 годов, возглавлявшегося Пугачевым, Пушкин решил испробовать свои силы на материале французской революции. Труд Гизо («История цивилизации во Франции») подсказывал Пушкину исторический метод работы. Исследование о французской революции предполагало историческое введение из прошлой борьбы городов с королевской властью, с изображением борьбы за независимость магистратуры, деятельностью парламента и пр. В бумагах поэта сохранились только планы задуманного исследования. В статьях Пушкина тридцатых годов встречаются оценки некоторых исторических явлений XVIII века. По этим оценкам можно представить ход мыслей Пушкина,

его политическую направленность в применении к предреволюционной и революционной Франции. XVIII век — в концепции Пушкина. — время, когда интенсивно начал проявляться «дух исследования и порицания»; во главе эпохи Вольтер, «великан», принесший «все высокие чувства, драгоценные человечеству, в жертву демона смеха и иронии»; «умы возвышенные следуют за ним. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидерот есть самый ревностный из его учеников... Общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается» (1834). В рукописи этой статьи упомянут Монтескье и отмечена идеологическая антагонистичность Вольтера и Руссо: «новые мысли, новое направление отзывались в умах, алкавших новизны... Монтескье обдумывал „Дух законов“, отдыхал за персидскими письмами»: «задумчивый *софист* Руссо провозгласил себя учеником (Вольтера), *делается его врагом, но следует направлению, от него полученному*». В анализе «Рокового предназначения XVIII века» Пушкин тридцатых годов отразил бы иное, чем прежде, отношение к идейным течениям «века просвещения». Идеи историзма, окрепшие в нем с двадцатых годов в процессе изучения Гиббона, Гердера, французской историографии, Вальтера Скотта, привносили более трезвые, сравнительно с юношескими, воззрения на роль личности и народа в исторической жизни и на значение идеологических направлений, заветанных великими просветителями. В 1836 г. Пушкин, некогда испытывший, как «соблазнительны для развивающихся умом мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями», называл Гельвеция «холодным и сухим», видел в его трактате о разуме «начала пошлой и бесплодной метафизики». По мнению Пушкина, скептицизм лишь первый шаг человеческого умствования; «демон схема и иронии», только разрушая патриархальные верования, — недостаточное оружие в стройке культуры. Но отрицая вольтерьянство, он продолжал быть верным Вольтеру, называя его «идолом Европы, первым писателем своего века, предводителем умов и современного мнения». Отвергая «начала» Гельвеция и обращаясь к принципам германской философии, Пушкин оставался при прежнем культе разума, продолжал признавать ценным «дух исследования» и считать Бэкона величайшим умом нового времени, основоположником новейшей науки.

Не изменились в основном его политические суждения: крупнейший деятель французской революции, ненавистник деспотизма

Мирабо (см. его „Essai sur le despotisme“, 1774), названный поэтом в 1825 г. «пламенным трибуном, предрекшим перерождение земли», знаменитое изречение которого перед появлением Людовика XVI в национальном собрании: «молчание народов пусть послужит уроком королям!» он припомнил в заключительной ремарке „Бориса Годунова“, продолжал для него быть любимой исторической фигурой конца XVIII века.

В статье о Радищеве (1836) Пушкин писал: «человек, увлеченный некогда львиным ревом *колоссального Мирабо* (Радищев), уже не мог сделаться поклонником Робеспьера...» «Время ужаса» поэт как будто расценивал по-прежнему, но действительность с торжествующей плутократией во Францию, с буржуазными парламентами, с ростом пауперизма в Англии, мещанской «демократией» в Америке, описанной в «славной книге» (по выражению Пушкина) Токвиля („De la démocratie en Amérique“), казалась ему далекой от великих принципов, провозглашенных революцией XVIII века, за которые так много было пролито крови в разных странах Европы, в частности «друзьями человечества», «братьями и товарищами» поэта, погибшими в «несчастном бунте» на Сенатской площади.

Гнет политического режима в России, нестерпимо давивший Пушкина и вырвавший у него 18 мая 1836 г. признание: «чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом», неотвратимо вел его к выводу, что освобождение страны от самовластья и рабства может наступить только после повторения в России 1789 года Запада.

Пушкину-западнику была чужда начинавшая слагаться славянофильская теория о «самобытности» исторического процесса в России, о различии ее путей развития сравнительно со всей Европой. Николаевская реакция, превратившая «страну господ, страну рабов» в могильный склеп, в котором судорожные порывы к свету преследовались беспощадно, заставляла сравнивать существовавший строй со «старым порядком» абсолютистской Франции и ожидать неизбежного взрыва; рост крестьянских восстаний сигнализировал о новой «пугачевщине» в ближайшем будущем. История французской революции подсказывала автору „Капитанской дочки“ важный вывод, сформулированный Пушкиным в одной из его заметок: «Я полагаю, — писал поэт, — что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина». Этим он признавал великое социальное значение французской революции 1789—1793 годов, взорвавшей твердыню старого феодального порядка и давшей крестьянину землю. В поисках выхода из крепостнического строя, не считая

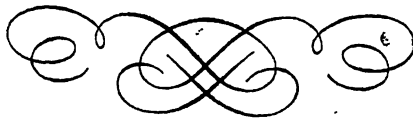


чить, будто народы созданы ради королей, а не короли ради народов, — чего нельзя утверждать, не изменяя до некоторой степени человеческому достоинству. Далее, утверждать, что король не ответственный ни перед кем, кроме бога, — значит ниспровергнуть всякий закон, всякое правомерное управление.

Ведь если государи могут отклонять от себя всякую ответственность, тогда все эти коронационные обещания, все присяги, которые они дают, — пустой призраок и насмешка. Из этого следует, наконец, что народ, от которого первоначально исходит всякая высшая власть и которого благо преследует всякая власть, имеет право избирать королей и свергать их, даже если они и не превратились в тиранов, — только в силу естественного права свободных людей, — выбирать себе ту форму правления, которую они считают наилучшею. В народе, свергающем несправедливого короля, больше божественного, чем в короле, притесняющем неповинный народ. Как короли правят по воле бога, так и народы освобождаются по воле того же бога. Права народа так же исходят от бога, как и право короля». Религиозная оболочка английского интендента, неприемлемая для «крестника Вольтера», выражала с юности дорогую для него идею верховенства народа. Мильтон — *защитник английского народа* — указывал Пушкину в 1836 г. дорогу исторического движения, на которую через столетие вступил *колоссальный* Мирабо.

Автор „Памятника“ — *защитник русского народа* — перед смертью, думая о благе родины, видел единственное средство к достижению свободы рабскому крестьянству в идее верховенства народа, защищавшейся великими историческими деятелями Западной Европы и революционной борьбой народов Старого и Нового света.

Западноевропейское революционное движение оформляло политическое мировоззрение поэта на протяжении всей его жизни.





---

АКАДЕМИЯ НАУК  
СССР

СТО ЛЕТ  
СО ДНЯ СМЕРТИ  
А.С. ПУШКИНА

ТРУДЫ  
ПУШКИНСКОЙ СЕССИИ  
АКАДЕМИИ НАУК  
СССР

1837 — 1937

---

Издательство Академии Наук СССР  
Москва-Ленинград

1 9 3 8